

Луи-Фердинанд Селин

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КРАЙ НОЧИ

Издательство АСТ
Москва

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
С29

Louis-Ferdinand Celine
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard

Селин, Луи-Фердинанд

С29 Путешествие на край ночи/ Луи-Фердинанд Селин / пер.
с фр. Ю.Корнеева — Москва: Издательство АСТ, 2018. —
416 с. — (Extra-текст)

ISBN 978-5-17-094200-8

Луи-Фердинанд Селин — классик литературы XX века, писатель с трагической судьбой, имеющий репутацию человеконенавистника, анархиста, циника и крайнего индивидуалиста. Обвиненный в сотрудничестве с немецкими оккупационными властями в годы Второй мировой войны Селин вынужден был бежать в Германию, а потом — в Данию, где проводит несколько послевоенных лет: сначала в тюрьме, а потом в ссылке...

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-094200-8

© Editions GALLIMARD, Paris, 1957
© Юрий Корнеев, перевод
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Посвящается Элизабет Крейг^[1]

Наша жизнь — в ночи без света
Путешествие зимой.
В небесах, что тьмой одеты,
Путь прочесть мы тщимся свой.

Песня швейцарских гвардейцев, 1793 г.^[2]

Путешествовать — полезно, это заставляет работать воображение. Все остальное — разочарование и усталость. Наше путешествие целиком выдуманно. В этом его сила.

Оно ведет от жизни к смерти. Люди, животные, города и вещи — все выдуманно. Роман — это всего лишь вымышленная история. Так говорит Литре^[3], а он никогда не ошибается.

И главное: то же самое может проделать любой. Достаточно закрыть глаза.

Это по ту сторону жизни.

Началось это так. Я все помалкивал. Ни гугу. Это Артюр Ганат меня за язык потянул. Он тоже студент-медик, свой парень. Встречаемся мы, значит, на площади Клиши. Время — после завтрака. У него ко мне разговор. Ладно, слушаю.

— Чего на улице-то стоять? Зайдем. Ну, зашли.

— Здесь на террасе только яйца варить, — заводится он. — Давай в кафе.

Тут мы замечаем, что на улице ни души — такая жара; извозчиков и тех нет. В холода тоже никого не бывает; помню, все тот же Артюр сказал мне на этот счет:

— Вид у парижан всегда занятой, а на самом-то деле они просто гуляют с утра до ночи; недаром, когда не очень разгуляешься — слишком жарко или слишком холодно, — их опять совсем не видно: сидят себе по кафе да кофе с молоком или пиво потягивают. Так-то оно. Вот говорят: век скорости. Это где? Все болтают: большие перемены. В чем? По правде сказать, ничего не изменилось. Все по-прежнему любят сами

собой, и точка. И это тоже не ново. Изменились одни слова, да и те не очень: одно-другое, мелочь всякая.

Изрекли мы эти полезные истины и сидим, довольные собой, на дамочек в кафе пялимся.

Потом разговор переходит на президента Пуанкаре^[4]: он в то утро как раз собирался быть на торжественном открытии выставки комнатных собачек; потом, слово за слово, перескакиваем на «Тан», где об этом написано.

— «Тан» — вот это газета! — принимается меня заводить Артюр Ганат. — Нет такой другой, чтобы французскую нацию лучше защищала!

— Очень это французской нации нужно! Да такой нации и нет, — отвечаю я, чтобы показать: сам, мол, подкован и все у меня тип-топ.

— Нет есть. В наилучшем виде есть. И нация что надо! — гнет он свое. — Лучшая нация в мире. И козел тот, кто от нее отрывается.

И давай на меня пасть разевать. Я, понятное дело, не сдаюсь.

— Свистишь! Нация, как ты выражаешься, — это всего-навсего огромное скопище подонков, вроде меня, гнилых, вшивых, промерзших, которых загнали сюда со всего света голод, чума, чирьи, холод. Дальше-то уже некуда — море. Вот что такое твоя Франция и французы.

— Бардаю, — возражает он важно и малость печально, — наши отцы были не хуже нас. Не смей о них так.

— Вот уж что верно, то верно, Артюр! Конечно, не хуже — такие же злобные и раболепные, даром что их насиловали, грабили, кишки им выпускали. А главное — безмозглые. Так что не спорю. Ничего мы не меняем — ни носков, ни хозяев, ни убеждений, а уж если и поменяем, то слишком поздно. Покорными родились, покорными и подохнем. Для всех мы бескорыстные солдаты, герои, — а на деле говорящие обезьяны, болтливые плаксы, миньоны^[5] короля Голода. Вот он нас и употребляет. Чуть заартачился, как он прижмет... У него руки всегда нас за глотку держат: тут уж не поговоришь — гляди, чтобы глотать не помешал. Ни за грош ведь удавит. Разве это жизнь?

— Но есть же любовь, Бардаю!

А я Ганату:

— Артюр, любовь — это вечность, что заменяет пуделям тумбу, а у меня свое достоинство есть.

— У тебя? Анархист ты, и все тут.

Хитрюга он со своими передовыми воззрениями — это же сразу видно.

— Верно, толстомясый, я — анархист. И вот доказательство: я тут сочинил кое-чего вроде молитвы, социальной молитвы мести. Сейчас ты мне скажешь, как она тебе. Называется «Золотые крыла».

И я декламирую:

«Бог, что считает минуты и деньги, Бог, отчаявшийся, похотливый и хрюкающий, как боров, что валяется где попало брюхом кверху и всегда готов ластиться, — вот он, наш повелитель. Падем же друг другу в объятия».

— У твоего сочинения нет ничего общего с жизнью, я — за установленный порядок и не люблю политики. И в день, когда отечество позовет меня пролить кровь за него, я отдам ее и филонить не буду.

Вот что он мне ответил.

А тут, хоть мы ничего не замечали, к нам исподтишка подбиралась война, да и голова у меня пошла кругом. Спор у нас был короткий, но жаркий, и я притомился. К тому же чуток разволновался: официант обозвал меня жлобом — я чаевых мало дал. Словом, мы с Артюром помирились. Окончательно. И почти во всем пришли к одному мнению.

— В целом ты прав, — примирительно согласился я. — В конце концов, все мы плывем на одной большой галере и гребем что есть сил — с этим ведь не поспоришь. Сами как на гвоздях сидим и других с собой тянем. А что с этого имеем? Ничего. Одни удары дубинкой, вечные нехватки, брехню и прочее свинство. «Работать надо!» — долдонят нам. А ихняя работа — это еще гаже, чем всё остальное. Торчишь в трюме, провонял, взмок от пота — и на, полюбуйся! На палубе прохлаждаются хозяева, дышат свежим воздухом, баб на коленях держат — красивых, розовых, раздушенных. Потом нас наверх высвистывают. Господа надевают цилиндры и принимают нас накачивать: «Падлы, война! Мы им покажем, сволочам с родины номер два. Они у нас все на воздух сыграют. Вперед! Вперед! На борту есть все, что надо. А ну, хором! Рывкнем для начала так, чтобы все затряслось: «Да здравствует родина номер один!» Пусть всюду слышно станет. А кто громче всех заорет, тому медаль и Христов гостинчик! А кому, черт побери, неохота подыхать на море, пусть подыхает на суше: там оно еще удобней, чем здесь».

— Что верно, то верно, — одобрил Артюр: его вдруг легко убедить стало.

Тут как нарочно мимо кафе, где мы окопались, проходит полк; впереди, верхом, командир, здорово симпатичный и, видать, парень — уху. Меня так и подкинуло от энтузиазма.

— Схожу-ка посмотреть, так ли все это! — кричу я Артуру и отправляюсь записываться в добровольцы.

— Мудак ты, Фердинан! — кричит он мне вдогонку: наверняка раздосадован, что мой героизм произвел впечатление на публику вокруг.

Конечно, я на такое его отношение малость обиделся, но не остановился. Меня уже повело. «Я здесь, здесь и останусь»^[6], — говорю я себе.

— Увидим, редиска! — успеваю я ему прокричать, прежде чем исчезнуть за углом вместе с полковником, полком и оркестром. Все произошло именно так, как я говорю.

Маршировали мы долго. Одна улица, другая, и на каждой гражданские с женами подбадривают нас и цветы нам кидают, а на террасах, у вокзалов, в церквах полным-полно народу. Да уж, патриотов тогда хватало! Потом их поубавилось. Потом пошел дождь, и стало их еще меньше, а затем и овации прекратились. Ни одной за всю дорогу.

Выходит, остались одни свои? Шеренга за шеренгой? Тут и оркестр замолчал. «Эге, — подумал я, видя, как все оборачивается, — да это вовсе не забавно! Надо бы все сначала начать». И уже собрался дать деру. Поздно! За нами, гражданскими, потихому закрыли ворота. Мы, как крысы, угодили в ловушку.

Если уж влопался, то как следует. Нас посадили на лошадей, но через два месяца опять спешили. Так оно, наверно, дешевле. В общем, как-то утром полковник хватился своего коня, и ординарца тоже — тот подевался неизвестно куда: видимо, приглядел местечко, где пули свищут реже, чем на дороге. Посреди дороги мы оба и остановились — полковник и я с книгой приказов: он в нее их записывал.

Вдали, очень-очень далеко, посреди шоссе чернели две точки — точь-в-точь как мы, только это были немцы, уже добрых четверть часа стрелявшие без остановки.

Наш полковник, может, и знал, почему эти двое палят; немцы, пожалуй, тоже знали, а я, ей-богу, нет. Сколько ни копался в памяти, одно скажу: ничего худого немцам я никогда не делал. Всегда был с ними до упора любезен, до упора вежлив. Немцев я малость знаю: я даже в школе ихней учился где-то под Ганновером, когда ребенком был. Я говорил на их

языке. Тогда они казались мне шайкой маленьких горластых кретинов с блеклыми и уклончивыми глазами, как у волков. После уроков мы вместе ходили тискать девчонок в ближний лесок, а еще стреляли из арбалетов и пугачей — по четыре марки штука. Пили подслащенное пиво. Но это — одно, а садить по нам посередь дороги, даже слова предварительно не сказав, — совсем другое: разница немалая, форменная пропасть. Чересчур большая разница.

В общем, война — это было что-то непонятное. Так продолжаться не могло.

Может, с этими чудиками стряслось что-то особенное, чего я не чувствовал? Во всяком случае, я за собой ничего такого не замечал.

Мое отношение к ним не изменилось. Мне даже вроде как хотелось понять, с чего они стали такими грубиянами, но еще больше хотелось удрать, отчаянно, нестерпимо хотелось, до того мне все это показалось вдруг следствием какой-то чудовищной ошибки.

«В такой передрыге остается одно — дать деру», — решил я, поразмыслив.

Над нашими головами, в двух, а то и в одном миллиметре от виска, одна за другой звенели стальные нити, натягиваемые в жарком летнем воздухе пулями, которым так не терпелось нас убить.

В жизни я не чувствовал себя таким ненужным, как под этими пулями и солнечным светом. Безмерное, вселенское издевательство.

Было мне тогда всего двадцать. Вдали — безлюдные фермы, пустые, настезь распахнутые церкви, словно крестьяне скопом ушли из этих селений всего на день, на праздник в другом конце кантона, и доверчиво оставили на нас свое добро: землю, телеги оглоблями вверх, распаханные поля, дворы, шоссе, деревья, даже коров и пса на цепи — словом, все. Чувствуйте, мол, себя как дома, пока нас нет. Вроде бы даже очень мило с их стороны. «А все же не уйди они отсюда, — рассуждал я про себя, — будь здесь до сих пор народ, люди уж наверняка не повели бы себя так мерзко! Так пакостно! Просто не посмели бы у всех на глазах». Но за нами некому было приглядывать. Мы остались одни, как новобрачные, которые дождутся, чтобы все ушли, и давай свинством заниматься.

А еще я думал (укрывшись за деревом), что хотел бы сейчас увидеть здесь Деруледида^[7], о котором мне уши прожужжа-

ли, — пусть-ка объяснит, что он испытывал, когда ему в брюхо пулю вогнали.

Немцы, прижавшись к дороге, стреляли упрямо и плохо, но зато патронов у них было завались: наверняка полные подсумки. Решительно, война и не думала кончаться. Наш полковник, это у него не отнимешь, демонстрировал потрясающую храбрость. Разгуливал по самой середке шоссе и поперек него, словно поджидал приятеля на вокзальном перроне, разве что малость нетерпеливо.

Я — это надо сразу сказать — деревни не выношу: там тоскливо, вокруг одни канавы, в домах вечно ни души, дороги никуда не ведут. А уж если к этому еще войну прибавить, то и совсем нестерпимо становится. Вдоль обоих откосов подул резкий ветер, шквальный шум тополиной листвы смешивался с сухим треском, долетавшим до нас от немцев. Эти неизвестные солдаты все время мазали по нам, но окутывали нас, как саваном, тысячами смертей. Я шевельнуться боялся.

Ей-богу, мой полковник был сущее чудовище. Хуже собаки: уверен, он даже не представлял себе, что и до него смерть добраться может. И еще я понял, что храбрецов вроде него должно быть много в нашей армии и, конечно, не меньше у противника. Сколько — этого уж никто не знает. Один, два, может, несколько миллионов. С этой минуты страх мой стал паникой. С такими типами эта адская чушь, того гляди, на целую вечность растянется. С чего ей прекращаться? Никогда еще я отчетливей не сознавал, какой неумолимый приговор висит над людьми и вещами.

«Неужели я единственный трус на земле?» — подумал я. И с каким ужасом подумал! Трус, затерявшийся среди двух миллионов героических психов, сорвавшихся с цепи и вооруженных до зубов? В касках, без касок, без лошадей, на мотоциклах, в машинах, свистящих, стреляющих, хитрящих, летящих, ползущих на коленях, идущих маршем, гарцующих по тропинкам, громыхающих, запертых на Земле, как в сумасшедшем доме, чтобы разрушить все — Германию, Францию, целые континенты, — разрушить все, что дышит, более бешеных, чем собаки, и обожающих свое бешенство (чего за собаками не водится), в сто, в тысячу раз более бешеных, чем тысяча бешеных собак, и во столько же раз более злобных! Миленькие же мы, однако, типы! Наконец-то я понял, что меня понесло в апокалиптический крестовый поход.

Девственником можно быть не только в смысле похоти, но и по части Ужаса. Мог ли я представить себе такой ужас, когда уходил с площади Клиши? Кто мог угадать, не распробовав войны, сколько грязи в нашей героической и праздной душе? Теперь всеобщее стремление к массовому убийству подхватило меня и несло в огонь. Это поднималось из глубин и вырвалось на поверхность.

Полковник по-прежнему ухом не вел. Я смотрел, как, стоя на откосе, он получал записки от генерала, неторопливо читал их под пулями и рвал на кусочки. Выходит, ни в одной нет приказа прекратить эту гнусность? Выходит, сверху ему не сообщают, что вышла ошибка? Отвратительное недоразумение? Путаница? Недомыслие? Что собирались устроить только маневры — в шутку, а не ради убийства? Нет! «Продолжайте, полковник, вы на верном пути!» Вот что, ясное дело, писал ему генерал Консоме, начальник дивизии, наш общий командир, каждые пять минут присылавший ему конверт через связного, от раза к разу становившегося все зеленей и развинченней со страху. Я чуял в этом парне брата по трусости. Только вот брататься было некогда.

Выходит, тут не ошибка? Выходит, запросто стрелять друг в друга, не видя даже в кого, не запрещается! Это из тех вещей, что можно делать без риска, схлопотать нагоняй. Это признано и даже одобрено серьезными людьми, все равно что лотерея, свадьба, псовая охота. Ничего не скажешь. Война разом открылась мне вся целиком. Я лишился девственности. С войной нужно остаться наедине, как я в ту минуту, чтобы рассмотреть ее, стерву, анфас и в профиль. Войну между нами и теми, кто напротив нас, разожгли, и теперь она запылала. Она как ток между двумя уголями в дуговой лампе. И уголь не скоро погаснет. Все пройдут через нее, и полковник тоже, как он ни вышндривается: когда ток с той стороны долбанет его между плеч, из его туши получится жаркое не хуже, чем из моей.

Приговоренным к смерти можно быть самыми разными способами. Эх, чего бы я, кретин чертов, не отдал сейчас, чтобы очутиться в тюрьме, а не здесь! Ну кто мне мешал предусмотрительно своровать чего-нибудь, пока еще было не поздно! Так нет, ни о чем заранее не думаешь. Из тюрьмы выходят живыми, с войны не возвращаются. Все остальное — слова.

Будь у меня еще время — но его больше не было, и красть было нечего. А ведь как славно в какой-нибудь симпатичной тюрьме, куда не залетают пули, думал я. Никогда не залетают!

Я знал одну такую — на солнышке, в тепле. Я постоянно вспоминал ее — она в Сен-Жермене около леса, а запомнилась мне потому, что прежде я не раз проходил мимо. Как, однако, меняешься! Тогда, ребенком, я боялся ее. А все оттого, что еще не знал людей. Теперь-то я не поверю тому, что они говорят и думают. Людей, только людей — вот кого надо бояться. Всегда.

Долго ли будет тянуться этот бред, когда же эти чудовища вымотаются и уймутся? Долго ли может длиться такой припадок? Месяцы? Годы? Ну, сколько? Не до всеобщей ли гибели этих психов? До последнего из них? И раз уж события приняли такой отчаянный оборот, я решил рискнуть всем, сделать последнюю безоглядную попытку остановить войну в одиночку. По крайней мере в том закутке, где находился.

Полковник расхаживал в двух шагах от меня. Я решил с ним потолковать. Раньше я такого не делал. Сейчас стоило рискнуть. Там, где мы оказались, терять было вроде нечего. Я уже воображал, как он спросит: «Чего вам?» — удивленный, конечно, моим дерзким обращением. Тут я ему и вывалю, как все это понимаю. А уж там увидим, что он на этот счет думает. В жизни самое главное — объясниться. А вдвоем это легче, чем в одиночку.

Я уже приготовился к решительному шагу, но тут подбегает строевым измотанный, расхристанный спешенный кавалерист (так их тогда называли) с перевернутой каской в руке, как Велизарий^[8], а сам дрожит, весь в грязи, и лицо у него позеленоватей, чем у первого связного. Он чего-то бормочет, и кажется, так этому кавалеристу из могилы вылезти хочется, что его вот-вот с натуги вырвет. Выходит, этот призрак тоже пуль не любит? Выходит, предвидит их, как я?

— В чем дело? — грубо (ему помешали) рявкает полковник, бросив на это привидение взгляд словно из стали.

Мерзкий вид этого спешенного — одет не по форме, в штаны от страха пускает — здорово взбесил полковника. Он трусов на дух не переносил — это простым глазом было видно. А каска в руке, как шапокляк, и вовсе уж не вязалась с нашим кадровым полком, очертя голову рвущимся в дело.

Под презрительным взглядом начальника дрожащий связной встал «смирно», руки по швам, как в таких случаях полагается. Вытянувшись, он покачивался на откосе, по подбородному ремешку у него катился пот, а челюсти прыгали так, что он повизгивал, как собачонка во сне. Никак было не разобрать, то ли он заговорить пытается, то ли плачет.

Тут наши немцы, залегшие в самом конце дороги, сменили инструмент. Теперь они продолжали свои глупости уже на пулемете; они словно чиркали целой пачкой спичек зараз, и вокруг нас гудели злобные рои пуль, назойливых, как осы.

Наконец парень выдал нечто членораздельное:

— Вахмистра Барусса убили, господин полковник, — выпалил он.

— Ну и что?

— Убили, когда он поехал разыскивать фургон с хлебом на дорогу в Этрап, господин полковник.

— Ну и что?

— Его разорвало снарядом.

— Ну и что, черт побери?

— Вот, господин полковник...

— Это все?

— Так точно, все, господин полковник.

— А хлеб? — спросил полковник.

Так их диалог и закончился. Я помню, он еще успел спросить: «А хлеб?», — и это все. Дальше только огонь и грохот. Да какой! Не верится даже, что так грохотать может. Мне разом заложило глаза, уши, нос, рот, и я подумал, что мне тоже конец и я сам превратился в огонь и грохот.

Ан нет, огонь погас, только в голове еще долго грохотало, а руки и ноги дрожали, будто кто стоит за спиной и трясет меня. Я уж вообразил, что члены мои отвалятся, но они все же остались при мне. Да еще в дыму, долго щипавшем глаза, разнесся острый запах пороха и серы — хватило бы клопов и блох на всей земле выкурить.

Сразу после этого я подумал о вахмистре Баруссе, которого разорвало, как доложил связной. «Хорошая новость! Тем лучше, — тут же решил я. — Одной падлой в полку меньше!» Он меня под военный суд за банку консервов подвести хотел. «Каждому своя война», — сказал я себе. С этой стороны, надо признать, и от войны польза бывает. Я знал в полку таких сучьих гадов, как Барусс, которым тоже от души помог бы нарваться на снаряд.

А вот полковнику я худого не желал. Тем не менее он тоже был мертв. Сперва мне было никак его не найти. Штука в том, что взрывом его швырнуло на откос, растянуло на нем и бросило в объятия спешенного кавалериста, связанного, тоже убитого. Они обнялись и вечно будут обниматься. Только у кавалериста была теперь не голова, а дырка на месте шеи, где булькала кровь,

как варенье в тазу. Полковнику разворотило живот, отчего все лицо перекошилось. Ему, наверно, здорово больно было, когда его шарахнуло. Тем хуже для него! Убрался бы, когда засвистело, ничего бы с ним не случилось.

Все это мясо прямо-таки исходило кровью.

Справа и слева от сцены по-прежнему рвались снаряды.

Я, недолго думая, дал оттуда деру и еще как был счастлив, что у меня такой удачный предлог умотать. Я даже чего-то напевал, хотя качался, как после хорошей гребли, когда ноги становятся какие-то не свои. «Один снаряд! Быстро же все улаживается одним-единственным снарядом, — шептал я про себя и знай твердил: — Ну и ну! Ну и ну!»

В конце дороги больше никого не было, немцы ушли. Однако я с одного раза усек, что двигаться можно только под тенью деревьев. Я торопился в лагерь: мне не терпелось узнать, есть ли еще в полку убитые во время рекогносцировки. И еще я повторял: «Наверно, наши уже доперли, как половчее в плен угодить». Там и сям за клочья земли цеплялись клочья едкого дыма. «Может, они все уже мертвы?» — спрашивал я себя. Раз они ничего не желают понимать, было бы выгодней и практичней, чтобы их всех поскорей перебило. Тогда бы все разом и кончилось. Мы вернулись бы по домам. Может быть, прошли бы торжественным маршем по площади Клиши. Ну, один-другой, ладно, пусть выживут. Славные, спокойные парни, сопровождающие генерала, а все остальные пусть помирают, как полковник. Как Барусс, как Ванайль (тоже сволочь) и прочие. Нам раздадут награды, цветы, мы пройдем под Триумфальной аркой. Завалимся в рестораны, нас обслужат бесплатно и вообще всю жизнь с нас денег брать не будут. «Вы же герои! — скажут нам вместо того, чтобы подать счет. — Защитники родины!» И этого достаточно. Расплачиваться мы будем маленькими французскими флажками. Кассирша и та откажется получать с нас и сама сунет нам денег, да еще поцелует в придачу, когда мы будем проходить мимо кассы. Вот так жить стоит.

Удирая, я заметил, что у меня кровоточит рука, только слабовато. Слишком легкое ранение, пустая царапина. Начиная теперь все сначала.

Снова пошел дождь. Поля Фландрии, как слюною, пузырились соленой водой. Еще долго мне не попадался никто — только ветер и почти сразу же опять солнце. Время от времени, неизвестно откуда, по воздуху и солнцу прилетала

пронырливая пуля, настырно стараясь прикончить меня в моем одиночестве. Зачем? «Да проживи я еще сто лет, никогда больше по полям гулять не буду», — поклялся я себе.

Бредя куда глаза глядят, я вспомнил вчерашнюю церемонию. Она состоялась на обратном скате холма. Полковник зычным голосом увещевал полк. «Смелей! — надсаживался он. — Смелей, и да здравствует Франция!» Когда ты лишен воображения, умереть — невелика штука; когда оно у тебя есть, смерть — это уже лишнее. Вот мое мнение. Никогда мне не приходилось столько всякой всячины за один раз усваивать.

У полковника воображения начисто не было. Отсюда все его несчастья, наши — и подавно. Неужели я один на весь полк могу вообразить себе смерть? Предпочту, чтобы она подзадержалась. Лет на двадцать-тридцать, можно и на подольше. Этак лучше, чем сейчас, когда мне хотят набить рот фландрской грязью, нет, не рот, а пасть, разодранную осколком до самых ушей. Человек вправе иметь свое мнение о собственной смерти. Но куда же все-таки идти? Прямо? Спину противнику подставишь. А сцапай меня жандармы, пока я шляюсь, мне, ясное дело, сполна по счету заплатят. В тот же вечер запросто и быстро устроят суд в классе какой-нибудь бывшей школы. Где бы мы ни проходили, всюду пустых классов хоть завались. Поиграют со мной в суд, как играют, когда учитель отлучится. На эстраде сидят сержанты, я стою в наручниках перед партией. А утром меня расстреляют: двенадцать патронов, больше не надо.

И я все вспоминал полковника, такого храбреца: кираса, каска, усы. Показать бы в мюзик-холле, как он передо мной под пулями и снарядами разгуливал! Такой спектакль даже в тогдашней «Альгамбре»^[9] аншлаг бы сделал, а полковник перешеголял бы самого Фрагсона^[10], даром что во времена, о которых я говорю, тот был первостатейной звездой. Вот что я думал. Не высовывайся! — вот что я думал.

После долгих-долгих часов, а шел я крадучись и с опаской, я увидел наконец наших у деревушки из нескольких ферм. Это было передовое охранение стоявшего там эскадрона. Никто не накрылся, сказали мне. Все живы. А я им — главную новость. «Полковника убили!» — крикнул я, подходя к охранению. «Ничего, полковников у нас хватает», — осадил меня бригадир^[11] Пистоль: он тоже был в наряде и как раз на посту стоял.